# Умеющая слушать

# Туве Марика Янссон

Когда это началось, тетушке Герде было пятьдесят лет, и первое предупреждение о том, что она изменилась, сделали ее письма. Они стали безликими.

Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью, ничто в ней не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, естественно, не развлекательно, но каждое слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно выверено и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немедленно, быть может, не всегда усердно, но добросовестно, серьезно и заинтересованно. Ее письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятной весны. Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько задержаться со следующим письмом.

Читать ответные письма тетушки Герды было все равно что еще раз наиувлекательнейшим образом испытать свои собственные впечатления и чувства, но уже драматизированные и как бы сыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происходящим и комментирует его. И одновременно читать со спокойной уверенностью в том, что тетушка всегда остается достойной доверия, которым ее столь часто вознаграждали.

Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом, и, когда наконец отвечала, письма ее были изуродованы недостойными извинениями, стиль их стал высокопарен и изобиловал длиннотами; и писала она уже только на одной стороне бумаги. А мастерски сделанные, детализированные комментарии, содержавшие искреннее сочувствие адресату, утратили свою теплоту.

Когда человек теряет то, что можно назвать изюминкой, выражением его самых прекрасных свойств, подобное изменение все растет и прогрессирует, а затем с пугающей быстротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Гердой. Очень скоро она позабыла все дни рождения. А также имена, лица и обещания. Она, которая обычно сидела в ожидании на ступеньках лестницы и тем не менее всегда приходила первой, стала опаздывать. Ее запоздалые подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и сопровождались мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью выношенные подарки, которые сама же и творила. Никогда больше не посылала красивые и трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда — блестками; теперь она покупала дорогие глянцевые открытки с уже напечатанными пожеланиями радости и счастья.

Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась, а также об ужасном, удручающем недостатке предупредительности с ее стороны.

Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят, они постоянно присутствуют там, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность, это не оценить деньгами, но часто приносит столько радости. Все ее сестры, и братья, и внучатые племянники, и друзья думали про себя, что Герда утратила свой стиль, утратила чувство ответственности и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто беспомощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и основательны и касаются сдвигов в таинственной сфере мозга, формирующем сущность человека и его достоинство.

Тетушка Герда знала: с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что стали всего лишь добровольным приспособлением к обстоятельствам и уступкой с ее стороны, требовали неимоверных усилий тетушки Герды. Она мучилась, постоянно упрекая в чем-то себя. А самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов — необходимость следить за временем.

Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали собственное времяисчисление, они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого утра. Можно сказать, эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чувством откровенного ожидания, тетушка Герда занималась приведением в порядок тех вещей, которые хотела взять с собой, когда уйдет из дому. Потом в душе ее появлялась страшная неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаимосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого любишь. А хуже всего — то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно приближается — секунда за секундой, — ив одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у дверей... Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка времени, может случиться, когда уже слишком поздно, увы, уже слишком и слишком поздно. Когда назначенное время ухода приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось нестерпимым. Она совершала странные ошибки: неправильно определяла время на часах, начинала заниматься мелкими посторонними делами, ее одолевала усталость, и она засыпала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак вовсе безо всякой надобности именно в тот момент, когда он звонил. Когда же эта бедная женщина умудрялась наконец явиться в гости с опозданием, она не переставая мучила хозяев дома своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями.

Время шло, лучше ей не становилось. Как тяжело, когда тот, кого слишком высоко ценят, ведет себя неподобающе, столь абсолютно неподобающе, и происходит это столь быстро, что никто не успевает вовремя прийти ему на помощь. Посреди какой-либо фразы тетушка Герда забывала, кто из ее внучатых племянников мальчик, а кто девочка, и панически замолкала, после чего, чрезвычайно понизив голос, говорила брату или сестре:

— Я хочу сказать, как поживает твой малютка?

Она говорила: «Разрешите представиться!» — людям, которых давно знала, и страх ее был при этом столь явным, что вызывал чувство подавленности.

Для того чтобы лучше понять манеру поведения тетушки Герды в период между зимой и весной тысяча девятьсот семидесятого года, требуется более подробное описание.

Возможно, мы недостаточно обращаем внимания на то, что непрерывно свершается с теми, кого любим, на тот постоянный и интенсивный процесс, который, пожалуй, во всей его полноте могут охватить лишь такие личности, как, например, тетушка Герда — разумеется, до всех тех изменений, которые с ней произошли. «Они любили сдавать экзамены, а потом добиваться ученых степеней либо не добиваться их, они получают прибавку к заработной плате и стипендии либо ничего не получают, кроме детей или выкидышей и комплексов, у них трудности с прислугой, и с половыми сношениями, и с упрямыми детьми, выказывающими все нарастающую самостоятельность, и с ложными представлениями, и с деньгами, а возможно, с желудком, или зубами, или своей верой, или профессией, или чувством собственного достоинства. Они запутываются в политике, и в самообмане, и в разочаровании, и в амбициях, на их долю выпадают измены, и похороны, и всякого рода ужасы, и постепенно у них появляются морщины и тысячи других вещей, о которых они и не помышляли, и все это есть и у меня, — печально думала тетушка Герда, — все ясно как день, и я не совершала никаких ошибок! Я никогда не ошибалась. Что же такое случилось?!»

Она часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Иногда она удивлялась, есть ли на свете спокойные и счастливые люди и существуют ли они вообще, а если они встретятся, посмеет ли она привлечь их внимание к себе. «Нет, — думала тетушка Герда. — Все-таки они носят нечто тайком в своей душе, они скрывают тяжесть, которой хотели бы поделиться. Письма, и подарки, и глянцевые картинки, выражающие нежность, важны. Но еще важнее слушать друг друга лицом к лицу, это — большое и редкостное искусство».

Тетушка Герда всегда была умеющей слушать. Быть может, некоторую помощь оказывали присущее ей умение формулировать свои мысли, а также отсутствие любопытства. Она слушала всех своих родных с тех пор, когда была молода, слушала, когда они говорили о самих себе и о других, включала их, как и саму себя, в огромную, придуманную ей изощренную книгу жизни, где разные события пересекались и следовали одно за другим. Она вслушивалась как бы всем своим большим плоским лицом, неподвижно и слегка наклонившись вперед, а взгляд ее был удрученным, иногда она быстро поднимала глаза, и в них читалась откровенная боль. Она не дотрагивалась до своего кофе и не обращала внимание на то, что сигарета ее догорает. И лишь в короткие интервалы времени, которые даже трагедия предоставляет для пошлых, но необходимых объяснений, она позволяла себе жадно затянуться сигаретой, выпить кофе и осторожно, стараясь не звенеть, поставить чашку на стол. Тетушка Герда была, собственно говоря, не чем иным, как воплощением тишины. А потом невозможно было восстановить, что она говорила, может, всего лишь, затаив дыхание, спрашивала:

— Да? Да?..

Или же коротко вскрикивала в знак сочувствия. Между тем, пока годы шли, а желание осознать происходящее все возрастало в душе тетушки Герды, не нашлось ни единого человека, который побеспокоился бы о том, знает ли об этом ее желании она сама. Все они полагались на ее способность самозащиты, они позволяли ввести себя в заблуждение ее своеобразной особенностью — сочетанием невинности с невмешательством. Рассказывать ей что-либо было все равно что рассказывать дереву или преданному животному. И никогда после этого ни малейшего чувства неудобства, которое обычно сопровождает тебя, когда разоткровенничаешься. Теперь же, казалось, тетушка Герда утратила свою наивность. Ее большое лицо, полуоткрытые и ничего не выражающие глаза, ее короткие возгласы не изменились, но они потеряли какую-то часть присущей им робости и простого желания узнать, чтобы понять и благодаря этому полюбить. В глазах ее затаилась уже совсем не та прежняя боль, и у нее появилось какое-то раздражающее, беспомощное движение руки, взывающее, казалось, о прощении. В ту зиму и весну немногие звонили тетушке Герде, в ее квартире настала тишина, совершенно мирная тишина, и прислушивалась тетушка лишь к шуму лифта, а иногда — дождя. Она часто сидела у своего окна, наблюдая за переменами времен года. У нее был эркер — в форме полукруга, довольно прохладный, окно было круглым и теперь, в марте месяце, украшено красивой ледяной решеткой. Сосульки были толстыми и изумительно отполированными проточной водой, вечерами они становились голубыми. Никто не звонил ей, и никто не приходил. Она думала, что окно — это огромный глаз, взирающий на город, на гавань и на полоску моря подо льдом. Непривычные тишина и пустота в квартире были для нее не только утратой близких, но и своего рода облегчением. Тетушка Герда чувствовала себя воздушным шаром, выпущенным из рук и блуждающим по воле ветра. «Но, — думала она всерьез, — это — воздушный шар, который забивается под крышу и не может двинуться дальше». Она понимала, что так жить нельзя, человек не создан, чтобы бессмысленно парить в воздухе, он нуждается в земной точке опоры, в смысле жизни и заботах, чтобы не затеряться в ее сумятице. Однажды, когда началась капель, тетушка Герда решила потренировать свою память и вернуться к прежнему простому образу жизни. Она составила список преданных ей людей, которых смогла вспомнить, их детей и внуков, а также других родственников, и попыталась припомнить, когда они все родились. Лист бумаги оказался слишком мал. Тетушка Герда развернула на обеденном столе большой рулон бумаги, предназначенной для поздравлений, и укрепила его кнопками. Она написала имя и дату рождения каждого родственника, а против каждого имени изобразила круглую голову, название же своей работы тетушка поместила в маленьком красивом овале;

детей — совсем близко от родителей и соединила с ними красными линиями. Все любовные связи она начертала розовым мелком, двойными же линиями — все незаконные и запретные отношения. Тетушка Герда почувствовала глубокую заинтересованность. На бумаге появились усложненные головы, окруженные обширным розовым ореолом, словно галактики, гигантские звездные системы, что внушают уважение и однако же вызывают почему-то сожаление.

Тетушке Герде впервые довелось испытать подобное переживание — составить картину родственных отношений и любовных связей, причем картину необычную. Она накупила мелков разных цветов. Она продолжала добросовестно рисовать: разводы обозначала она фиолетовым мелком, а ненависть — красно-лаковым, линии верности — светлым. Умершие были серого цвета. Она оставляла место для описаний тех фактов и дат, которые составляют человеческую жизнь. Теперь у нее было время для воспоминаний. Время не представляло больше опасности: оно существовало параллельно с ней самой, поскольку ей нужно было запечатлеть его в маленьком красочном овале. Тетушка Герда отмечала кражи денег, кражи детей, кражи работы, а также кражи любви и доверия. Она вспоминала тех, кто, обладая нечистой совестью, топил друг друга, или замалчивал достоинства других, или задерживал их продвижение по службе. Она обозначала их линиями, подчищала их и детализировала. Время больше не раздваивалось, и она прислушивалась лишь к своему собственному внутреннему голосу. Из забвения рождались звуки, рождались голоса, рождались лица, которые сливались воедино и обнажались, выпячивая губы, людей, которые говорили и говорили без конца. Тетушка Герда собрала всех родственников вместе, она позаботилась обо всех. То, что попадало в овал, избавлялось от бремени и страданий, но сохраняло свое внутреннее содержание. Память тетушки Герды открывалась, словно большая раковина, каждая линия была ясной и отчетливой; даже чрезвычайно отдаленное эхо постепенно приближалось, превращаясь в шепот.

Весна продолжалась, а тетушка Герда переносила свою большую карту жизни на пергамент. Ей немного мешало то, что там встречались повторы, которые могли показаться банальными, но все поведение людей диктуется своими определенными правилами. У нее на карте, помимо длительных и повторяющихся событий, отражалось единовременное дело, например попытка убийства — ее она обозначила пурпурным цветом, ощутив легкий холодок напряженности, быть может подобный тому, который испытывает коллекционер, наклеивая бесценную фальшивую марку на подобающее ей место в кляссере.

Иногда тетушка Герда сидела спокойно, не пытаясь вспоминать, погруженная в свою звездную систему минувшего и грядущего, она предчувствовала неизбежное изменение линий и овалов. У нее появилось желание предвосхитить то, что должно было произойти, обозначить собственные линии, новые линии, быть может, серебром или золотом, поскольку все другие цвета были уже использованы. Она тешилась безумной мыслью — заставить точки и овалы передвигаться, словно костяшки домино, менять взаимосвязи и создавать новые созвездия и запутанные цепи событий с непредсказуемыми последствиями.

Несколько раз звонили по телефону, но тетушка Герда говорила, что простужена и не принимает гостей.

К концу апреля она начала рисовать раму вокруг карты, — раму, состоящую из мелких удивительных орнаментов, несколько похожих на те фигуры, которые по рассеянности рисуют в телефонной книжке, пока разговаривают. Она вслушивалась в свой внутренний голос, в слова, кратко резюмирующие ее рассуждения.

Сын брата позвонил по телефону и спросил, может ли он подняться к ней, но тетушка Герда ответила, что у нее нет времени. Составление карты приближалось к окончательному завершению, оно находилось в чрезвычайно важной фазе и не терпело никакого постороннего вмешательства.

Крупные планеты крепко держат в своей орбите мелкие, спутники движутся своим, предначертанным им путем, а могучие линии усопших пересекают все остальные, все двойные, все подчеркнутые линии, а также все цепочки линий. Сплошные просчеты, разочарования и потери. Тетушка Герда начертала все прекрасные человеческие взаимоотношения такими светлыми мелками, что их затмили более яркие, а возможно, светлые линии стерлись в процессе работы. Теперь она шлифовала лишь слова, составляя краткие энергичные предложения, где каждое резюмировало се выводы. Каждое слово было предназначено для некоей личности, которая очень внимательно слушала. «Ты знал, что виноват в его смерти? Ты знал, что ты — не отец своей дочери? И что твой друг — дурного мнения о тебе?» И карта, соответственно, менялась, а тетушка Герда проводила свою первую линию золотой краской. Это была ужасающая и неотразимая игра мысли, а называлась она — «слова, которые убивают». В нее можно было играть только вечером у окна. Тетушка Герда полагала, что подобные слова должны ложиться на бумагу с длинными промежутками, если они, конечно, в самом деле когда-нибудь будут произнесены. Восьми, девяти слов было бы достаточно для обширных и длительных смещений в огромном проекте, лежавшем на обеденном столе. А позднее, в свое время, — новые слова для нового, умеющего слушать, и снова картина изменится. Эффект возможно предусмотреть и рассчитать так же, как при игре в шахматы с самим собой... Тетушка Герда вспомнила несколько поэтических строк, читанных в дни юности о том, как герои любимого ею произведения Бьёрн и Фритьоф: «...sutto bada vid ett schackbord skont att skada, silver var varannan ruta och varannan var av guld...»[[1]](#footnote-1). Ей необходимо было чертить свои линии серебром и золотом и долго ждать, прежде чем начертить еще одну линию. Время у нее было, да и материал — неисчерпаем.

Это было в начале мая. Долго-долго, допоздна в светлые июньские ночи она сидела у своего окна и играла в великую опасную игру. Она не зажигала ламп, ночь была ослепительно голубой, прозрачной и медленно меняющей краски, которые приходят вместе с весной. Ей не надо было смотреть на карту, она знала ее наизусть. Как и раньше, слова ее превращались в фразы и произносились, линии и овалы менялись местами, а краски постоянно чередовались. Впервые в жизни тетушка Герда переживала сладостное и горестное осознание своей власти.

Когда потеплело, она открыла окно, надела плащ, накрыла шерстяным пледом ноги и, сидя в эркере, стала смотреть на город и полоску моря. Она слышала шаги и голоса внизу на улице, каждый звук был совершенно ясен и отчетлив. Все, проходившие мимо, казалось, держали путь в гавань. Тетушка Герда почувствовала, что комнаты, в которых она жила, больше не окружают ее, они отвернулись от нее, они повернулись к улице. Необычайно светлая ночь внезапно стала тревожной и овеяла ее грустью. Она думала о том неизвестном ей, что происходило в этот момент снаружи. Каждую минуту на улице что-то происходило. Тетушка Герда долгое время сидела совсем тихо, затем, отшвырнув плед, вышла в прихожую. Позвонив племяннику, она спросила, не хочет ли он ненадолго подняться к ней и поговорить немного о своей картине, но он был занят и не мог прийти.

— Живопись... — сказал он. — Это было так давно, тетушка Герда. Теперь я работаю у папы.

Положив трубку, она сошла в столовую. Карта была неотчетливо различима в полутьме, теперь она напоминала чрезвычайно древнее изображение земли, видимое с небес, нарисованное в те времена, когда исследованные острова были огромны, а неизведанные континенты ничтожно малы.

Тетушка Герда была перфекционистом, человеком, стремящимся к совершенству, возможно, она и сама об этом не знала или же ей было даже незнакомо это прекрасное и пронзительное слово; она сочла лишь, что дело, сотворенное лишь наполовину, не имеет никакого смысла. Время обмануло ее, это ужасное время, которое она снова упустила. Ее карта оказалась недействительной. Она медленно свернула ее, перетянула рулон тремя резинками и сверху написала: «Сжечь непрочитанным после моей смерти». «Это была прекрасная работа, — подумала тетушка Герда. — Собственно говоря, жаль, если никто из родственников хотя бы не взглянет на нее». Она положила карту на самую верхнюю полку шкафа в прихожей и закрыла окно; шаги и голоса на улице исчезли. Затем она зажгла лампу над обеденным столом и вытащила коробку с глянцевыми картинками и засушенными цветами. По одной картинке, по одному цветку выкладывала она на стол и вспоминала, какими они казались ей прежде. Затем тетушка Герда протянула свою большую ловкую руку и одним-единственным движением заставила все эти прекрасные картинки снова соскользнуть в коробку. Кое-какие блестки упали на ковер и засветились там, голубоватые, как ночь за окном.

1. «Бьёрн и Фритьоф, сидя в зале, утром в шахматы играли, и за клеткой золотой блещет клетка серебра». Слова из романтической поэмы замечательного шведского поэта Эсайаса Тегнера (1782—1846) «Сага о Фритьофе» (1819—1825, опубл. 1841) (пер. со швед. А. М. Эйхенвальда и А. И. Смирницкого. Асаdemia, 1835) [↑](#footnote-ref-1)